

Пит Рушо
Итальянский художник



Пит Рушо

Итальянский художник

«Издательские решения»

Рушо П.

Итальянский художник / П. Рушо — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833998-1

Страшная готическая сказка-притча. Предсмертные записи итальянского художника из Анконы. Действие происходит в Италии с 1463 по 1514 годы. Не все события и факты, описанные в воспоминаниях художника Феру из Анконы, достоверны.

ISBN 978-5-44-833998-1

© Рушо П.
© Издательские решения

Итальянский художник

Пит Рушо

Иллюстратор Пит Рушо

© Пит Рушо, 2017

© Пит Рушо, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4483-3998-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пока я живу, мой мир изменился. Мир изменился, но я не больно-то понял его смысл. Всё так запуталось, перемешалось, и само счастье прошло стороной. Ничего стало не понять, но всё вот кажется, что была и у меня какая-то необычайная жизнь с небывалым доселе светом и радостью, что трепетала и страдала душа не зря, не совсем напрасно и не за просто так.

В детстве была дорога, в детстве среди поля в двух верстах от нашего дома была дорога, выложенная кирпичом, положенным на ребро. На этих кирпичках кое-где лежал войлочный помет коршунов, а может быть ястребов – такие сухие мышинные шкурки.

Стрекотали кузнечики, пахло цветущим лугом, и солнце светило нежно, как бывает только в детстве. Лес вдаль стоял как на картинке, и было точно известно, что в нём водятся медведи. А волк был только один, звали его Феру. Надо было не бояться волка, чтобы считаться храбрым, но поодиночке в лес никто не ходил.

Теперь дорога заросла, там полно кустов, и трава такая высокая, что коров не видать. К середине лета отцветает чертополох, и его пух уносит ветром. Тропинка петляет совсем в другом месте, и поля теперь не узнать. Про медведей разговоров нет. Речи стали мудрёными, но толку в них не много с тех пор, как Франческа-Бланш уплыла на южные острова.

Когда детство перестало быть самим собой, и надо было как-то жить дальше, я переехал в город. Моя жизнь прошла в городе. Но и город изменился. Кажется, что я остался прежним, верен былым чувствам, и мысли мои те же что прежде. Но это не так. Я виртуоз мечты, изобретатель грёз. Моя жизнь потрачена на то, чтобы отвлечь людей от взгляда в бездну, ведь так хочется подойти к самому краю и зачарованно любоваться собственной тьмой. А я мастерски расчерчиваю придуманное счастье на квадраты и рисую его на белых стенах. Фантазия моя прекрасна, потому что её нельзя отличить от правды. А дело не в ней. Ритм и цвет – вот что удерживает меня по целым дням на строительных козлах; запах краски, кризиса линии. Умбра, сиена, белила, ультрамарин и кобальт голубой. Кто бы знал, что этим всё закончится. Это почти так же прекрасно, как волк Феру. Только здесь ты один. Никто не придет на помощь. И даже сам ты не знаешь, страшно ли это – прожить жизнь, скрывая от людей правду о них самих и от самого себя, увлеченно раскрашивая толстую белую стену. Жизнь великолепна, и эти дети с горящими глазами. Когда-нибудь они вырастут и будут вспоминать меня. И я никогда не узнаю, что меня боялись, и только гурьбой ходили смотреть, как я вожусь с красками, прячась за углами и говоря шепотом. Они подталкивали друг друга, шептались, выглядывали из-за спин малышей и убегали в ужасе с топотом и визгом. И прозвище у меня было Феру. И этого я не узнаю. Зато я успел нарисовать волка. Волка я нарисовал отлично. Потому что я видел его в детстве. Один раз. И никогда не рассказывал о нём. Потому что рассказывать о волке было нельзя. Тайна жива, пока её хранят. Любовь уходит, остается только тайна.

Будем считать, что меня зовут Феру́. Я прожил больше полувека, и теперь уже нет никакой надежды, что эти записи будут завершены, что, впрочем, ничуть меня не тревожит. Мне захотелось разобраться во всей этой кутерьме, которая так долго рвала моё сердце и давала надежду. Захотелось понять, кем я был на самом деле, и почему дети, маленькие девочки и взрослые мальчики, любители и знатоки всех страшных суеверий, почему они даже днём боялись меня больше кого бы то ни было другого. Мурашки пробегали у них от лодыжек до затылка, и волосы шевелились сами собой. Я был их надеждой на прекрасную страшную тайну среди очевидного ужаса настоящего.

Струилась жизнь, над каналом, над плесенью перил и мокрыми ступенями, уходящими в травянистую цвелую воду. Летела шёлковая накидка; подкладка, тканая забытыми словами, переворачивалась, и становилось то, чего не могло быть. Пыль зеркал хранила девичью негу, истлевшая амальгама дырявым кружевом уходила в бережную ветхую даль. А жизнь летела, звенел смех, солнце разбивало стёкла, любовь торопилась на богатый парусник счастья и оставалась на берегу, как матрос, не успевший на последний рейс обречённого корабля. Утешения не было. Только карнавал, красивые маски, скрывающие дивные глаза. Фарфор белых плеч и бронза сильных рук. Алый бархат, белый горноста́й, золотой песок, алмазные искры, липкая ржавчина кинжала, толедский узор эспадрона и стеклянные страницы судьбы. Белый пепел сторевших векселей вечной верности растирался твёрдыми девичьими пальцами в мягкую пудру мести. Никого не жаль, никого не жаль – звенели каблучки по мрамору набережной. Жизнь бежала. Только бы дышать, дышать. Сладость ненависти. Только бы дышать. Стучало сердце, отрывая перламутр пуговицы у горла. Румянились смуглые щеки. Свистел морской ветер, разлетались каштановые кудри, сияли злобой синие глаза, и падал из окна горшок гортензий. Бах! Чёрная земля. Лай собаки. И время смердело в чёрной тени под горбатым мостом, как ночной убийца, умерший на рассвете, когда жизнь уходила от него по пустым мокрым улицам, улыбаясь распухшими губами и шурша полотном белых юбок.

Я приехал в деревню, чтобы вспомнить прошлые годы. Меня встретил чужой мир: пыльные кипарисы, пустой лошадиный череп в траве и хромая собака. Никто не узнал меня на почтовой станции, и незнакомые дети возились в белой пыли и жестоко швырялись друг в друга незрелыми твёрдыми сливами.

Когда я приехал в поместье, время было уже за полдень. Свет падал сверху. На ярком солнце было ничего не разглядеть, да и в тени тоже. Какая-то пухлая дневная тишина окутывала всё кругом. На ступеньках лежала сосновая хвоя, скрученные стручки мышиного горошка и кожура грецких орехов. Кусты малины выросли, где их сроду не бывало. Запах старого дома встретил меня за тяжелой деревянной дверью, и я понял, что приехал не зря.

Первым делом я отправился в сарай за лестницей, чтобы залезть на чердак. На чердаке был обычный беспорядок: ласточки лепили гнёзда к стропилам, и из чердачного окна была видна знойная летняя даль: над лугом висела пустельга, верстах в десяти виднелся серый столбик саренской колокольни, и две козы паслись на склоне холма. Чердак был в порядке, трубы дымоходов не треснули, кирпичи, обмазанные рыжей глиной, лежали всё так же криво и плотно, как и полвека тому назад. Я спустился на кухню и растопил очаг. Лучинки потрескивали и гнулись на бледном огне, дым не хотел подниматься вверх, потому что на улице было слишком жарко. Я отворил окно, звякнуло стекло, метнулся солнечный зайчик, посыпались дохлые мухи. Занавеска с выгоревшими добела гусями заполоскалась на ветру. Сиплым, скрипучим кухонным насосом я накачал воды, дождался, когда сойдёт ржавчина. Вода была с тем самым привкусом свежего железа, что и раньше. Я сполоснул чайник, повесил его над огнём и отправился бродить по комнатам. Взял в шкафу книгу, вышел на крыльцо, на слепящий солнечный свет. Вишнёвое дерево у входа разрослось, ягоды потрескались от недавних дождей и жары. Жёлтые осы прогрызали чёрные вишнёвые бока до косточки.

Пытаясь разлепить страницы, склеенные вишневым соком в предыдущие времена, даже не моего ещё детства, а раньше, в каком-то незапамятном июле, ближе к вечеру; я уверен, что это было в конце дня, усталое облако набухало от духоты над садами, и кузнечики умолкли, влажный жаркий воздух оглох, наполняя уши безмолвным шумом летней жизни, и только трясогузка цепко семенила по скату крыши; я почти видел эти детские руки с синеватыми ягодными пятнами, толкающий под локоть влажный собачий нос и рыхлого рыжего комара, который не проживет и секунды, навеки вдавленный между словами «её окружает» и «полумрак отошедшего дня». Перебродивший вишнёвый сахар с неслышным треском освобождал листы, и мне становилось жаль заглядывать туда, где, запечатанные детской рукой, буквы хранили заповедные чувства последние лет пятьдесят. Пятьдесят лет никто не заглядывал в их мысли, и никто не знал, остались ли они прежними.

Я думаю о смерти, потому что эти мысли наиболее уместны. Я не думаю о жизни, как она прошла: любовь, две войны, талант, деньги и прогулка на ослике по горной тропе среди сосен. Я думаю о смерти, о чёрном зеркале, в котором всё ярче, чем на самом деле, и краски гуще. Я думаю о покое и темноте, переходящем в отсутствие темноты, и отсутствие темноты не становится светом. Смерть раскрывается передо мной аспидным бутоном пустоты, простором лугов, глубиной омота и каменной толщей. В раннем детстве, перед сном смерть много раз приходила ко мне: это был клубящийся шар пламени и чёрного дыма, я хорошо помню его сладковатый вкус, плотную питательную почву судьбы невесомого счастья. Я думаю о смерти – она мое будущее. А смерть думает о себе. Жизнь ревнива, а смерть – нет, она без стука открывает такие двери, о которых мы начинаем догадываться слишком поздно. Названия дорог исчезают, уступая место путям тишины в такие края, где пегое утро никогда не потревожит нас своим зябким рассветом.

Я стараюсь не думать о смысле смерти. Раньше я думал о смысле жизни, когда что-нибудь в моей жизни шло не так, а это случалось намного чаще, чем хотелось.

Я пачкаю руки вишневым соком. Пусть тот, кто придет после меня через пятьдесят лет будет осторожен. Я же не знаю, какие мысли подкараулят его на исходе июльского дня, когда жара над холмами уходит в остывающее небо, и с востока начинает подбираться чернота новорожденной ночи.

В то лето я впервые почувствовал себя взрослым. Мысли сделались яркими, позволяли обдумывать себя со всех сторон и не ускользали больше в приятную мерцающую тень суеты детских впечатлений. Возможность размышлять, возвышаться умом до понятий вневременных, отдельных от телесного мира природы ежедневного бытия, возможность эта уводила вдаль, и вся моя жизнь как будто распускалась на просторе, жизнь моя выбиралась из детской тьмы, как бабочка из кокона, как листья или цветок какой-нибудь вишни проклёвывалась она из весенней почки в пустом ещё апрельском саду, как маленький карасик выбиралась моя судьба из крошечной икринки в глубине реки, среди водорослей и зелёной воды, полной страшных и прекрасных тайн. Чувство достоверности тех явлений и сил, которые нельзя различить умом, возможность прикоснуться душою к плотному воздуху идей неподвластных самой изощренной мысли, говорили мне, что всё очень серьезно. В то лето грохотали грозы, с неба по ночам падали звезды.

Я плохо помню своего отца. Но его исчезновение произвело на меня тягостное впечатление. Нельзя сказать, что я его не любил. Я любил его по-своему, горько и тяжело, как все дети любят родителей. Не могу сказать, что я его сильно боялся, но чувство страха, которое он внушал мне, было таким же сильным, как любовь.

Я не помню, когда он исчез. Знаю только, что потом, много позже, мне часто снился один и тот же сон. Этот кошмар преследовал меня всё детство и юность, он перестал тревожить меня во время моего многолетнего заточения в подвале замка Муль в Анконской бухте.

Этот сон был ужасен своей достоверностью и точностью деталей. Сон происходил будто бы не во сне. Он начинался с того, что я просыпался в своей постели, в полной уверенности, что я проснулся. Было темно, я постепенно начинал различать очертания знакомых предметов в комнате. Потом ставил босые ноги на пол и, стараясь не шуметь, выходил в сад. Я писал под яблоней, надо мной чернело звёздное небо. Кричали цикады. Пахло ночными цветами. Возле флигеля в саду рос душистый табак, я хорошо помню его запах. В комнате отца на втором этаже горел свет, штора тепло светилась, я понимал, что отец не спит, от этого мне становилось спокойно и уютно. Я возвращался в постель, забирался под одеяло, думал о том, что ночь за стенами дома совсем не такая, как внутри.

Я закрывал глаза, слегка задрёмывал, но неясный звук будил меня, я просыпался снова и не мог уже заснуть. Так я лежал, глядя в потолок или на тёмное пятно картины на стене. Мне становилось скучно так тратить время драгоценной ночи. Думал пойти к сестре и разбудить её, чтобы поговорить с ней о кузнечиках. Я уже давно открыл для себя существование кузнечиков, но они продолжали представляться мне настолько невероятно прекрасными, что говорить о них я мог сколько угодно. Но будить сестру даже для такого увлекательного разговора мне было жалко. Тогда я начинаю думать о своём отце. Его мир кажется мне очень заманчивым: вот он сидит сейчас в кабинете, или расхаживает по ковру из угла в угол. Или чистит ружьё, прочищая жёстким ёршиком затравочное отверстие. И я поднимаюсь на второй этаж к закрытой двери отцовского кабинета. Стучу довольно громко и отчётливо, но не получаю никакого отклика. Стою в нерешительности. За дверью слышится неясный шум и какое-то сопение. В беспокойстве я открываю дверь. Отец сидит за письменным столом спиной ко мне. При свете свечей мне видны только кисти его рук, пальцы скрючены, отец вцепился в край стола с такой силой, что костяшки на руках торчат, как у скелета. Я не вижу его лица.

– Немедленно убирайся спать! – кричит он, не поворачивая головы. Я в панике бросаюсь вниз по лестнице, ложусь и засыпаю беспокойным неровным сном. Просыпаюсь снова.

Я просыпаюсь от звериного воя в комнате моего отца и точно знаю, что отец хочет съесть мою сестру. Дикий страшный зверь на минуту замирает, но это ещё хуже. Он принохивается. Весь дом наполняется страшной ночной тишиной, от которой звенит в ушах. Сам собой скрипит шкаф, падает на кухне капля воды, ветка едва слышно ударяет по стеклу. Медленно ползёт время. Сердце у меня колотится, и я понимаю, что если сейчас же не спрячу сестру, отец разорвёт её на части и сожрёт в самое ближайшее время. Я вбегаю в комнату сестры, она спит, щёки её тёплые ото сна.

– А, это ты, – бормочет она во сне, – я думала, это волк, – говорит она и засыпает у меня на руках. Она ужас до чего тяжёлая. Куда с ней спрячешься? Сестра висит на мне и не думает просыпаться. Я лезу с ней в каминную трубу. Я упираюсь спиной и ногами в стенки тёплой, еще не остывшей трубы дымохода. Мне кажется, что я очень шумно дышу, что сердце стучит, как молоток по доске. Мне страшно. Я добираюсь до того места трубы, где она идет вбок, образуя узкое колено, запихиваю туда спящую сестру. Скрип когтей слышится на ступенях лестницы, ближе, ближе, совсем рядом. Я держусь пальцами за выступы кирпичей в трубе, но руки мои дрожат, я срываюсь и падаю вниз, я лечу, душа уходит в пятки, и я просыпаюсь в падении. Всё. Я снова просыпаюсь у себя в постели. В доме странная тишина. Утром возле камина валяется окровавленная кочерга. Пол и диван заляпаны кровью и сажей, кое-где видны клочки серой шерсти. Моя ночная рубашка в саже. Сажей перепачкана подушка и вся постель.

Сестра зовет меня завтракать. У сестры прекрасное настроение, она чисто умыта, глаза сияют. Мы едим жареный хлеб с маслом. Утро солнечное, и в доме счастливая тишина.

Отец исчез. Он на самом деле исчез, и я не знаю, как это произошло. Мы остались одни, и странная боль сиротства с тех пор поселилась во мне навсегда.

Заколдованное поместье, где мы с сестрой провели счастливые годы нашего детства, располагалось среди широких полей на берегу речки. Там мы жили в умеренном уединении и приятной беззаботности, свойственной раннему возрасту. Мраморная колоннада восточного крыла уходила на полмили от дома, заросли кипрея сменялись цикорием и мелкой придорожной ромашкой, а колонны продолжались. Пинии нависали над ними, засыпали ступени иголками. К полупрозрачным на солнце мраморным капителям пристраивались гнезда ласточек, в трещинах росла трава, и прятались ящерицы, и колонны выходили в совершенную пустоту поля, где человеческий мир оставался позади. Думаю, что светлые духи полей и солнечных лесных опушек обитали здесь всюду. Это был мой мир.

Там я жил, и первые впечатления свободы, полёта мысли, вольного простора, наполненного смыслом, были получены мною именно там, и солнечный свет раннего счастья разливался в моей крови.

Тут следует, конечно, рассказать о моей младшей сестре, пока повествование не вынесло нас сразу далеко вперёд, и не всё ещё перемешалось в голове у читателя. Если я и сам с трудом могу понять, что же происходило в те далёкие дни десятки лет тому назад, то каково будет в этом разобраться человеку со стороны, когда новые люди и существа заполняют пространство наших записей, явятся в полусне, придут под дождём в зачарованную усадьбу среди полей, приедут в каретах или придут пешком с военным обозом, чавкая по грязи тяжёлыми от глины сапогами. Тогда уже почти не останется времени говорить о моей любимой сестре. Иногда мне кажется, что лучше было бы о ней умолчать, спрятать навсегда, но поступить так я не в силах. Франческа-Бланш была великолепна. У неё были карие глаза и непростой характер.

Свою сестру я нашёл в лесу. Это я помню точно.

В то утро я отправился ловить рыбу. Молчаливый Кнелленспинген оседлал для меня серую в яблоках кобылу Манису и приготовил завтрак, который я взял с собой. С левого бока Манисы висело сразу два стремени, одно ниже другого, и я забирался в седло как по лестнице без особого труда. В ту пору мне было лет шесть, точнее сказать не могу, потому что свои дни рождения я отмечал кое-как, невпопад, и никакого представления о возрасте не имел. Никто не говорил мне при встрече: мальчик, сколько тебе лет и как тебя зовут. Я носил бархатные штаны, бархатную куртку с камешками в карманах, порыжелые башмаки, подбитые латунными гвоздями, и шапку с кисточкой. Люди улыбались мне и говорили: здравствуйте, сеньор Феру. Их поведение казалось мне правильным.

Кнелленспинген проводил меня до дальнего сарая и напутствовал молчанием.

Серая шерстяная лошадиная спина была очень широка, я сидел, растопылив ноги, или лежал поперек, свешиваясь головой вниз, прогонял с толстых круглых боков Манисы слепней, смотрел на быстрое однообразное движение лошадиных ног и на траву с мелкими цветами, бегущую внизу подо мной, под лошадиным брюхом. Лошадь уютно пахла хлебом.

Тогда ещё был жив мой отец, но он никогда не принимал участия в моих детских забавах. Иногда мне кажется, что он был ко мне равнодушен, но это равнодушие, полностью лишённое высокомерия, не было мне в тягость. Я был свободен не только от его любви, но и от какой бы то ни было излишней опеки. Свобода моя и в те дни была почти полной, так что я ехал, ни о чём не тревожась, к новому мосту возле арпинских ёлок, где речка делает поворот а затем уходит в лес. Там, где быстрое течение на мелководье ещё не переходит в заводи и омуты, где под кустами плавают чирки и кряктовый селезень с весенней сине-зелёной головой, лучшего места на реке для ловли окуней и представить себе было нельзя. Неширокая заливная пойма в этом месте всегда прилежно выкашивалась, место это было открытое, солнечное и достаточно заповедное. Я надеялся, что оставлю Манису пастись на лугу, а сам спокойно разденусь и полезу в реку, где, бредя по пояс в воде, смогу наловить руками шершавых окуней. План мой был вполне прост, но столкнулся с неожиданным присутствием

косарей на этом вот самом лугу. Я знал их довольно хорошо. Это были Антонио, Мария и их почти взрослая дочка Лючия-Пикколли. Они очень искренне и шумно мне обрадовались, потому что считали меня чем-то вроде своего счастливого талисмана, Лючия-Пикколли сняла меня с лошади. Мне сразу налили огромную плошку молока, стали угощать хлебом, сыром, сушёными грушами, ранним инжиром и орехами, всего этого было в изобилии, всё щедро, радостно, просто и доброжелательно. Мне пришлось осчастливить их гостеприимный шалаш своим благосклонным визитом и забыть на время о рыбной ловле.

Мария и Лючия-Пикколли сразу сообщили мне, как я необыкновенно красив и как девушки будут влюбляться в меня с первого взгляда, когда я подрасту. Также они рассказали о будущем хорошем урожае, о том, что у соседней потерялась овца, и что погода сегодня прекрасная, на небе ни облачка. После этого они объяснили, кто на ком женился или собирается это сделать в ближайшее время, а потом перешли к страшным историям. Потому что все рассказы в наших краях заканчиваются страшными историями.

Вот что я услышал в тот день от Лючии-Пикколли. Вот её рассказ.

Грабитель могил Эндрю Хок, чёрный, как ноябрьская безлунная ночь, грабитель могил Эндрю Хок, снимающий нательные кресты с мертвецов, спасался от погони. Он скакал на взмыленном коне, держа в руке тяжёлый сверток. Эндрю Хок выехал из леса прямо к воротам Штингенского замка и громко постучал в закрытую дверь, он стучал и кричал, чтобы дверь открыли. Когда ему послышались голоса часовых, он положил завёрнутого в клетчатый плед ребенка у порога, а сам ускакал в чащу леса. Преследователи вскоре настигли Эндрю Хока в Тримельском болоте, и участь его была ужасна.

Часовой Штингенского замка Миклаш Штурчзинский приоткрыл железное смотровое окно боковой двери и увидел девочку, завёрнутую в клетчатый плед. Он послал доложить о случившемся графу Штингену, который пировал в это время со своими друзьями, отмечая помолвку дочери. У графа Штингена было каменное сердце, он приказал не открывать дверь и оставить подкидыша в лесу у ворот.

– Пусть ребёнка съест волк или унесут призраки, – сказал жестокий граф, не подозревая, какую страшную участь он готовит самому себе.

Наутро обитателей Штингенского замка нашли мёртвыми. Смерть застала их внезапно. Мертвые гости графа сидели за столом с выражением неизъяснимого ужаса на лицах. Сам граф Штинген, задушенный куском клетчатой шерстяной ткани, лежал на пиршественном столе среди кабаньего мяса и опрокинутых кувшинов. Погибли все. Погибли стражники, повара, щеголеватые наглые слуги и даже лошади в конюшне. Страшное проклятье настигло Штингенский замок, смерть не пощадила никого. И никто не осмелился похоронить проклятых покойников. С тех пор прошло без малого триста лет. Башни замка обрушились, и развалины поросли ельником. На месте ворот замка, возле заросшего рва, есть глубокий провал. Его называют ямой Миклаша, в ней водятся вонючие ужи. Многие не раз пытались найти в подвалах замка каменное сердце графа Штингена. Но безуспешно. Говорят, что раз в год каменное сердце графа начинает кровоточить, и этой темной каменной кровью хорошо лечить свиней, если на них нашьют порчу, и свиньи вдруг начнут задыхаться. Не знаю, правда ли это. Так рассказывают.

Вот такой рассказ я услышал в тот день от юной Лючии-Пикколли, и ни Антонио, ни Мария ни разу не подали вида, что в правдивости этой истории можно усомниться. На этом я сердечно распрощался с крестьянским семейством и отправился в сторону леса.

Жарко светило солнце, и при ярком свете дня мне было не очень-то уж и страшно. Больше всего мне хотелось встретить волка Феру, его я боялся. Я забрался в реку и с наслаждением искупался. Лошадь Маниса, нагруженная одеждой, следовала за мною вдоль русла, а я гнал стаю мелких полосатых окуней в сторону леса. Но окуни быстро удрали от меня, оставив облака мути. Некоторое время я заворожённо любовался красным мотылём в зелё-

ной воде, потом вышел на берег, обсох на солнце, натянул штаны и отправился дальше. Я прошёл берёзовую опушку с трёхлетними сосенками на припеке. С запахом бересты, смолы; с муравейником, серым от времени бревном, на котором удобно было отдыхать. Бабочки складывали и раскрывали крылья на цветах полевой астры, земля была разрыта кабанами, «ку-ку» эхом отдавалось вдаль, шумели верхушки берёз, и там, за старой вырубкой, начинался огромный Штингенский лес. Маниса заупрямилась и отказалась идти дальше. Я оставил лошадь в покое, а сам пошёл через папоротники, будучи уверен, что Маниса прибежит ко мне, стоит её только позвать.

Еловые стволы покрывал голубой лишайник, воздух был неподвижен, красные мухоморы и трухлявые грузди кучками стояли среди опавшей хвои, яркие своей дремучей красотой, чужие миру полей, солнца и синего неба. Мох, черничные кочки, бело-красная брусника и комары окружили меня. Лес молча нашёптывал невнятицу, заборматывал, давил на грудь духотой и неясной тревогой. Я вошёл в тёмную чащу не столько из любопытства, а как бы чувствуя в этом потребность моей души.

Я шёл очень долго и ближе к исходу дня, продираясь сквозь высокую траву, чуть не провалился в ров Штингенского замка. Я чудом ухватился за ствол орешника. Подо мною был глубокий овраг, там внизу, среди камней и гнилых сучьев, тёк ручей. Всё кругом заросло деревьями, всюду был бурелом, остатки фундамента с провалами подвалов, болото и непролазные кусты ежевики. Стены рва в этом месте были укреплены каменными плитами, уходящими саженей на восемь в глубину. Мне пришлось переходить на другую сторону по узкой каменной балке, лежащей над пропастью. Я шёл по ней приставными шагами, стараясь не смотреть вниз, и надеялся, что внезапный резкий крик рябчика не испугает меня на середине дороги. Штингенский лес позади развалин менялся разительно. Он начинался обманчивой приветливой поляной, заросшей лесными цветами. Высокая дикая слива стояла на склоне холма среди горячих от солнца камней. С верхнего края лужайки были видны зелёные верхушки Штингенского леса, отсюда он казался добрым, большим и солнечным. Но дальше начинался северный склон горы с огромными буковыми деревьями. Серо-зелёные голые стволы буков уходили в вышину, загораживая свет, земля была засыпана коричневыми палыми листьями, ядовито-зелёный плющ пытался задушить серые мёртвые камни. Идти можно было только по склону вниз, на Тримельские торфяные топи. Я обходил болотные тростники и папоротники, пока древний каменный забор не преградил мне дорогу. Перед железной дверью стояла маленькая девочка. Она была бледна и настолько неподвижна, что даже складки платья не шевелились на ней. Было такое впечатление, что стоит она здесь с весны или даже и того раньше, она вся заросла травой, а на плече у неё лежал сухой лист ольхи.

– Ты кто? – крикнул я ей в испуге.

– Феру, – спокойно, но очень тихо ответила она, – разве ты не знаешь? Я твоя сестра. Мне было страшно, что вот ещё немного и чудо жизни покинет этого ребёнка.

– Мне надо попрощаться, – сказала она пустым бесцветным голосом, и мне показалось, что она снова уходит в свой мир лесного небытия. Она толкнула тяжёлую железную калитку в стене, и мы вошли в сырой тёмный сад. Призрачные хосты и крапчатые лесные орхидеи цвели по бокам тропинки, выложенной каменными пальцами. Мы подошли к мрачному приземистому дому, крытому мшистым дёрном, и зашли внутрь. Старая тяжёлая мебель стояла в серых чехлах. Тёмные портреты, завешенные мертвецкой марлей, висели на стенах в пятнах грибной гнили. Глубокие прямоугольные ямы были вырыты прямо в земляном полу. Возле них стояли три открытых сундука, наполненные старыми кружевными платьями. В сундуках поверх платьев неподвижно лежали три женщины в длинных рубашках. Их лица и руки были свинцового цвета.

– Я вас не забуду, – сказала моя сестра, – теперь вы свободны.

- Теперь пойдём домой, – сказала она и взяла меня за руку своей горячей твёрдой рукой.
- А где твой дом?
- Разве ты не знаешь, Феру? Я же твоя сестра.

Мы покинули это глухое печальное место, кое-как выбрались из лесу и разыскали Манису. Туман полосами вставал над рекой, и беззвучные совы скользили над темнеющим полем, не взмахнув крылом. Вечер уже померк. Стылая сырость ночи, от которой останавливалась кровь, и замирали мысли, холодными струями текла над травой, внезапно сменяясь кусками тёплого, за день нагретого воздуха. Брякала конская сбруя, большая тёплая лошадь топала по дороге, и звук был такой, как будто копыта у неё сделаны из деревяшки. Незнакомые кусты и стога прошлогоднего сена вырастали из серой темноты, травы спали, и только ночная фиалка расточала ласковый аромат низко над самой землей, стараясь пробудить тех, кто лежал в её песчаной глубине.

Так у меня появилась сестра. Призраки трех женщин довольно часто приходили к ней по ночам. Сестра им что-то строго выговаривала, и они исчезали.

Однажды утром, когда я по своему обыкновению принимал горячую ванну перед завтраком, мне в голову пришла удивительно простая идея, что сестру можно рисовать. Так появились первые её портреты. Ещё с сестрой можно было петь песню «Выйди, Грандери-лья, ночью на балкон». Примерно в таком духе была вся песня, собственно, это была считалка для игры в прятки. Моя сестра пряталась так, что найти её было невозможно. С Франческа-Бланш можно было говорить обо всём на свете, не так, как это считается правильным, а по-настоящему. В особенно трудных случаях она задавала вопросы, требуя объяснить неизвестные ей вещи, понятия и явления. Ещё мы писали друг другу письма.

Мы переписывались с сестрой по почте. Её письма ко мне могли выглядеть примерно так: «Дорогой Феру, сегодняшний день я провела со своим братом, который, как тебе уже известно, живет в деревне и совершенный бука. Его поместье расположено недалеко от Анконы, но с востока и севера (я точно не знаю, где тут у них север, но он где-то рядом), поместье окружено такими лесами, что кажется, будто само время бессильно пробраться в эти края. Представь, мой брат очень мил, ловит рыбу и совершенно был бы похож на человека, если бы не его пристрастие рисовать мои портреты серебряным карандашом. Моему лицу он пытается придать черты идеалов греческой красоты, право не знаю, что хорошего он в них находит. Мы собираем с ним виноградных улиток и готовим их с петрушкой и чесноком – ужасная гадость. На ужин мы жарили шампиньоны на костре. Брат считает интересным пугать меня бледными поганками, он говорит, что если случайно мы съедим бледную поганку, то немедленно умрём. По-моему, он неглуп, хоть временами не понимает, о чём я говорю».

В самом деле, моя сестра всегда говорила очень бойко и правильно, но было много слов, значение которых я узнал много позже. Это были какие-то странные, преимущественно немецкие словечки со швабским выговором. Письма от нас друг другу приходили примерно на третий день. За это время жизнь наша успевала настолько перемениться, что казалось, будто это пишут посторонние люди о событиях нам неизвестных. Иногда Франческа-Бланш звала меня и говорила: Феру! Нет, ты послушай, что пишет мне мой брат из деревни!

Сестра иногда писала то, о чём не говорила со мной вслух. Так я узнал о некоем молодом человеке по имени де Ламбор, который жил с нами по соседству и представлял собой идеал рыцарственности старого образца. Франческа-Бланш виделась с ним всего несколько раз и осмелилась подарить ему букет. В ответ она получила записку, присланную с дрессированным жуком. В записке де Ламбора было два слова: «Я счастлив». В дрессированного жука я верил свято, знал что это правда, хотя я также знал, что никакого буквального де Ламбора нет, но догадывался, о ком идет речь. Это был мальчик Джованни Конти, который приезжал на лето из Тренто в наши края с родителями. Они жили за озером, милях в два-

дцати от нас, на старой римской вилле среди виноградников и грецких орехов, объединенных снизу коровами. Я понимал, что детская любовь не ищет лёгких путей, что двадцать миль – не преграда для моей сестры, и мне казалось, что Джованни де Ламбор-Конти – самый лучший человек на свете. Однажды осенью я получил от сестры письмо, состоящее из одних прочерков: в нём не было ни слова. Позже я узнал, что в этот день умер от совершенно случайной болезни мальчик, которого сестра описывала мне под именем де Ламбора. Джованни Конти умер 10 октября 1476 года на постоялом дворе в Марта-Гриньоли по дороге из Фальконары в Римини. С тех пор каждый год, за исключением лет, проведённых мною в подвале тюрьмы Муль, я получал от сестры письма с прочерками и датой 10 октября. Думаю, что это были письма несостоявшейся её судьбы, которая, в каком-то высшем смысле, всё-таки случилась, потому что смерть значит ровно столько, сколько ей положено – а это много, но всё же не более того. Думаю, в этих прочерках была их свадьба и описание свадебных подарков. Были рассказы о новом большом доме, в который они переехали. Потом сообщалось о рождении детей, рассказывались подробности их детства, первые слова и переживания об их здоровье, мелкие сетования на мужа, надежды и печали обычной жизни человека.

Каждый год я получаю после 10 октября письма с этими прочерками. Пожалуй, связка этих писем – единственная вещь, которой я суеверно дорожу.

Если не считать этой трагедии вещью существенной. Да, вот именно. Если считать смерть любимого человека моей сестры малозначимым эпизодом детства, то само это наше детство было вполне счастливым. Я рисовал для сестры гербарий полевых цветов. И до сих пор 128 листов плотной хлопковой бумаги, разрисованных пером и акварелью, лежат в трёх коричневых папках между «Приключениями шевалье де Арсенвиля, друга амазонок», банкой из-под пороха и тяжелыми холщовыми мешочками с дробью. Это 128 листов историй о моей сестре. Это рисунок подорожника ланцетовидного, где также видна её голова в панаме с орлиным пером. Это рассказ о вытаскивании белых лилий из пруда. Ловля пчёл на мёд возле цветущей вишни, заваривание чая из боярышника, подробный рисунок цикуты с пожеланием скорейшей смерти всем нашим врагам. На каждом листе она умудрялась карандашом пририсовать десятка полтора жуков, сороконожек и гусениц самого неправдоподобного вида с приписанными аккуратным почерком такими же достоверными латинскими их названиями. Отдельные восемь листов были посвящены грибам. Десять листов с изображениями карася, линя, налима, пескаря, плотвы, щуки, окуня, голавля, ерша и пиявки не сохранились, и кажется, были похищены кем-то из моих приятелей-рыболовов.

Мы плавали на лодке по реке, ловили цыплят корзинкой, строили шалаш на дереве и трижды заблудились в лесу так, что приходилось ночевать в незнакомых деревнях у незнакомых людей, которые на следующий день возвращали нас в поместье. Мы разводили костры и чуть не сожгли дом, сестра постригла себе волосы и ходила с короткой стрижкой, пока волосы снова не отросли. Сестра сломала себе ключицу, когда упала с качелей, а меня укусил ёж. Так что всё было не так уж плохо. Я рисовал портреты сестры серебряным карандашом на бумаге, грунтованной квасцами с гуммиарабиком. Но это отдельная тема, к ней, может быть, мы ещё вернёмся позже.

Сейчас настало время рассказать про человека, которого можно было бы назвать нашим отчимом. Он появился значительно позже трагического исчезновения нашего настоящего отца, когда мы с сестрой уже успели привыкнуть к полной свободе одиночества. Этот человек пришел в наш дом во время дождя. Он сказал, что он наш отец и будет жить вместе с нами. Его категорическое заявление было явной грубой ложью. Успокаивало лишь то, что он не пытался придать своим словам хоть каплю правдоподобия. Не могу сказать, чтобы мы с сестрой как-то неслыханно обрадовались: мы привыкли жить вдвоём и никогда не задумывались о своем положении. Чёрные жесткие волосы на голове этого странного человека были мокрыми и торчали из-под мокрой треугольной шляпы. Руки его покрывала грубая

шерсть. Гость был страшен, но пришлось пустить его в дом. Первое время наш неожиданный фальшивый отец вёл себя сдержанно, и мы его терпели без особого напряжения. Но потом стало ясно, что вся наша жизнь испорчена его присутствием. Пребывание этого неприятного человека в волшебном поместье отравило всякую радость, угроза и опасность распространились вокруг. Он был как настороженный зверь. Он поселился в отдельном заброшенном флигеле, где мы раньше хранили удочки, вёсла и прочий необходимый инвентарь. Он мог не показываться нам на глаза целыми неделями, но напряженная тревога не исчезала даже в эти дни.

Облик этого человека был неприятен. Его лицо было сделано из меди и покрыто чёрной фаянсовой глазурью. Сестра придумала романтическую легенду, что он получил ранение алебардой и носил свою чёрную маску, чтобы скрыть страшное увечье. А потом маска приросла к костям головы. Но я знал, что это неправда. Однажды в сарае он зацепился за гвоздь и даже не почувствовал боли, рубашка на его спине разорвалась, и я видел его голую спину из неструганых досок. Его звали Мателиус, он говорил, что женат. Что он женился во второй раз сразу после смерти нашей матери. Я знал, что Мателиус лжёт, и все эти странные слова – жестокая неправда, но речи Мателиуса пробуждали во мне искреннюю живую ненависть. Страх перед этим человеком сменился брезгливой злобой.

Как-то раз он показал на проезжавшую мимо карету и приветливо поклонился. В окне кареты я разглядел очень молодую даму, чей взгляд не понравился мне до чрезвычайности.

– Это сеньора Мита, – сообщил мне Мателиус, – моя жена.

Сеньора Мита смотрела на меня, не отрываясь, и я понял, что вместо глаз у неё серебряные деньги. Карета скрылась в тучах пыли, я с трудом перевёл дыхание. К своему ужасу на следующий день я нашёл в дорожной пыли блестящую серебряную монету. Странное чувство овладело мной, я нагнулся и подобрал находку. Это был стёртый от времени цехин с профилем курносой царицы. Я положил монету в своей комнате на этажерку среди камешков, сосновых шишек, поплавков, свечных огарков и книг. Ночью я проснулся от неприятного ощущения, что кто-то пристально смотрит мне в лицо. Лунный свет проникал через лёгкую штору. Комната выглядела иначе, чем днём. Её я заметил не сразу. Сеньора Мита сидела на моей кровати и смотрела на меня серебряным взглядом, один её глаз косил. Сеньора Мита не дышала, но выглядела вполне живой. Она была из прозрачного стекла. Стекланная красота её была совершенна, хотелось найти в ней хоть малый недостаток, но изъяна не было ни в чём, и мне стало по-настоящему страшно.

– Милый Феру, – сказала сеньора Мита тихим хрустальным голосом, – ты будешь моим другом. Я одинока и несчастна, мне нужен друг. Ты умный мальчик и сможешь меня понять. Мателиус выкопал меня из земли и обжёл на огне в своей лаборатории. Но Мателиус вечно занят, он уделяет мне мало внимания. Я страдаю, хоть и не живу. Ведь ты понимаешь меня, Феру?

– Да, сеньора Мита, я понимаю вас. Мне очень жаль, – сказал я со страхом, но вполне искренне.

Она едва заметно улыбнулась и проговорила очень печально, задумываясь над каждым своим словом:

– Я себя совсем не знаю. Я – сеньора Мита, жена господина Мателиуса. Что это значит? Кто я? Я себя почти не вижу.

Она встала и плавно подошла к небольшому зеркалу.

– Я не вижу лица, только эти деньги. Кто я? Скажи мне, Феру.

– Вы – прекрасная девушка, – сказал я осторожно.

– Что же во мне прекрасного? Я вижу только эти монеты – больше почти ничего нет. Мне нужно хоть что-нибудь понять. Вот что, – сказала она, – завтра мы поедем с тобой

в Анкону. В Анкону приезжает бродячий театр. Мы будем смотреть представление, я хочу понять, чем живут люди.

В середине жаркого дня к крыльцу подъехала её громадная карета, запряженная цугом шестёркой лошадей. Два форејтора-арапчонка стояли на запятках, фазаньи перья на их шапочках торчали вверх. Кривоногий кучер распахнул передо мной дверцу. Внутри кареты на подушках сидела сеньора Мита, закутанная в белый атлас и крапчатый лёгкий сирийский ситец, она была похожа на посуду, которую перевозят в деревянном ящике, завернутую в бумагу и обложенную стружками. Впрочем, стеклянное лицо её было покрашено тёмно-сливочными румянами. Она взглянула на меня через чёрный лорнет.

– Ты храбрый мальчик, – сказала она, и мне показалось, что ей самой очень страшно.

Сестра на прощанье показала мне кулак из окна своей комнаты, и мы отправились в город.

Сеньора Мита ехала в карете, ей было страшно, она читала книгу, бросала её на полуслове, смотрела в окно, теребила платье, гляделась в зеркало пудреницы, проверяя, не стерлась ли краска с лица. Светило солнце, пестрели тени грецких орехов, кричал встречный ишак, скрипели рессоры, вилась пыль, топали копыта, голубели поля овса и гороха, желтела сурепка, быстрый овод неподвижно летел возле кареты. Дорога плавно петляла среди пыли, тополей и белёсой мальвы вдоль канавы. Было жарко, и пахло колёсной мазью.

– Ты боишься молний? – спросила она, – ты боишься молний, огня, воды, стекла, земли? Ты боишься птиц?

Было видно, что мужество сеньоры Миты на исходе. Я опасался, что она выскочит на ходу и бросится бежать, не останавливаясь, от отчаяния и тоски.

– Эй, – она крикнула кучеру и ударила в стенку, – Клаус, останови.

Лошади стали. Карета замерла, покачиваясь. Сеньора Митта открыла дверцу. Сразу наступила небывалая тишина, какая бывает в поле среди дня. Пахло пылью, лошадиным потом, пахло лугом, всеми цветами, травой и землёй. Звенело в ушах, стрекотали кузнечики.

– Я хочу пройтись с тобой по лугу. Я хочу понять, есть ли смысл в каждой вот этой травинке. Что дает ей бесстрашие? Её может съесть лошадь, может смять колесо. Трава доживает только до конца лета. Таких травинок, как она, миллионы, в ней нет ничего выдающегося. Но я хочу понять. Почему она наполняет мое сердце таким светлым чувством? И я знаю, что в ней нет того страха, той пустоты несчастья, которое есть во мне.

– Я могу разбиться, но это ничего не изменит. Я из стекла, я не могу умереть. Если бы стать живой, если бы жить, тогда можно и умереть. Смерть это свобода. Путь свободной мысли лежит через смерть, да жаль любви. Мателиус любит меня, он несколько раз говорил мне об этом, и я хотела бы понять, что это значит, я бы очень хотела понять.

Она замолчала. Потом как бы очнулась, взглянула на меня, поправила парик, и крикнула, неопределенно посмотрев куда-то в небо:

– Клаус, принеси пистолеты.

Кучер Клаус не очень быстро принес ящик с дорожными пистолетами. Я подумал, что сейчас она предложит мне дуэль, мне стало интересно, и сердце забилось чаще.

Сеньора Митта взяла пистолет, навела его в поле и выстрелила. Было слышно жужжание улетающей пули. Кузнечики оборвали стрекот. Дымящиеся пыжи упали в траву.

Клаус подал ей второй пистолет. Она снова пальнула: бах! Я заметил, что рука её при выстреле почти не дрогнула.

– Вот, мой милый Феру. Что мне ещё остается? Любовь и пальба. Бах, бах! – развлечение глупой стеклянной девочки.

Она вдруг испугалась.

– Только не говори Мателиусу, что я стреляла. Он будет сердиться. Кто мы, Феру? Кто мы? Она посмотрела на меня пристально и щелкнула фарфоровыми зубами. Эх ты, вол-

чишка! – она потрепала меня по голове и подтолкнула к карете, – ну всё, поехали. Хочу в театр. Пусть другие люди расскажут нам, как болит у них душа, пусть они теперь мне расскажут о своей смерти, – она понюхала пистолетный ствол, и на носу у неё остался чёрный след пороховой сажи, – пусть они нам расскажут о счастье небывалом, вечной любви и абрикосах в сахаре. Она легко впрыгнула в карету, и мы покатали дальше. Я понял, что не забуду этот день никогда.

Вечером был спектакль.

Она пасла гусей, это были чёрные ночные гуси, и ночные белки прыгали вокруг. Королева Ночи спускалась с тёмного неба по россыпям мелких звёзд, и хвостатые кометы пели немудрёные песни возле двурогого золотого месяца. Запахи ночных трав, души ночной мяты и Melissa, белой резеды и зелёных болотных хвощей встречали Королеву, и ночной туман расстилался над сценой. Тёмные пантерные мухоморы в бальных туниках чалой масти тихо пели в уголке невпопад на два голоса «зачем тебя я полюбила». Музыканты в суконных камзолах играли в бутафорском гроте фавна, при свете лампы было видно, как осыпается пудра с их париков. Коптили масляные фитили, корзины свежих луговых цветов подмигивали фосфорными светлячками, сквозь декорации ночного леса летал когтистый грифон, разевая жёлтый клюв, он произносил баритоном «найду ли я приют укромный» и скрывался в кисее театральных зарослей. Коварная колдунья с крючковатым носом сидела, прислонясь к прекрасному мраморному юноше. Сто лет назад колдунья похитила песочные часы его жизни, время остановилось для него, он превратился в тёплый мрамор. Сто лет он видел сны этого леса: ночных белок; Королеву Ночи; призрачные тени колдунов; красавиц; рыцарей; королей, бежавших на край света; грабителей; влюбленных или бессердечных фей; алхимиков средней руки, торгующих ядами и микстурами вечной молодости; купцов; солдат и девушек в фесках, переодетых в мавританские шаровары. Театральное небо сотню лет зажигало над ним лунный фонарь, сотню лет кремовый крапчатый мрамор его тела укладывали в ящик с опилками, везли под тряский топот, под шум дождя или душной ночью, жарким днём по просёлочным дорогам и булыжной мостовой, везли, и снова, с наступлением темноты, на цветных кафельных плитах нового города, посреди площади раскладывался деревянный шкаф, из него вырастал театр, декорации тёмного леса, картонные оперные небеса, и куклы, вынутые из сундуков, пели райскими голосами о любви. У зрителей перехватывало дыхание, сердца их оживали, а куклы пели о настоящем счастье, чтобы сразу, той же ночью уехать в пыльных сундуках, покинув город навсегда. Театр уезжал ночью, оставив после себя горсть конфетти на дне фонтана, мандариновую кожуру и влюбленного мальчика, твердо решившего стать великим поэтом. Королева Ночи тряслась в фургоне, не глядя смытая виноградным уксусом чёрный грим, под которым была не она.

Опера завершалась фейерверком, бабахали ракеты и хлопушки, пороховой дым застилал всё вокруг, и театр исчезал среди огней и темноты. Куклы выходили на поклоны, грохотал марш пастушек и трубочистов, улетал в тёмное небо последний Арлекин, клетчатый в чёрных ромбах, сбегала Мирандолина, капельдинеры с факелами бросались её ловить, сквозь люк на сцене проваливался тамбурмажор, гремел салют, рушились пилястры кулис, таял во тьме занавес. Все пропадало, дым рассеивался, и закопчённый канонир-фейерверкер, гулко ударяя досыльником в пол, объявлял представление оконченным.

Публика кричала браво, но площадь была пуста, и сцена, похожая на эшафот, которая только что была у всех перед глазами, не существовала больше. Оставались только неслышные слова, громохание крахмальных подолов, запах духов и чувство, что печаль отступила, что-то изменилось в жизни навсегда, и всё не было так напрасно, как казалось ещё час назад. Браво – кричали дамы и кавалеры, но город был пуст. Ночь, чёрная как апельсин-королёк, разрезалась звонким боем башенных часов, красавицы покидали балконы окрестных улиц, и паланкины с фонариками меркли вдали.

Мы вернулись в поместье перед рассветом. Во флигеле отчима зажегся огонь. Мателиус вышел на крыльцо в халате с лампой в руке. Он был в бешенстве. Было видно, что он вне себя от ярости, но он мочал.

– Только наука, только точные знания, – сказал Мателиус на следующий день за завтраком, когда ярость его улеглась, – только они могут помочь. Глупо искать корни своей души в балаганном представлении. Отнеситесь к себе свысока.

И я вдруг почувствовал, с какой любовью он смотрит на сеньору Миту. Раньше я не подозревал, что такие чувства возможны. Это было одно из самых сильных потрясений моего детства.

Мы несколько раз в это лето ездили с сеньорой Митой в Фальконару и Анкону. Думаю, что наши поездки не были занятием пустым. Некоторые события тех дней оставили во мне глубокое впечатление. И ещё неизвестно, кому из нас эти переживания были нужнее: сеньоре Мите или мне. Я помню, как мы ушли с ней со спектакля в здании оперы после первого действия.

Торина – креолка с фиалковыми губами, большими и мягкими, как морская раковина перед рассветом, приплывала из Новой Индии. Тысяча чёрных рабов в белых набедренных повязках гребла красными вёслами, галера с золотой фигурой Афродиты на штевне причаливала среди голубых шёлковых волн к жёлтому медовому Кипру из папье-маше. Среди колонн с сахарными прожилками, как на халве, среди сиреневых стволов пальм и глянце-вых лавров, по ступеням дворца навстречу ей спускался чернобородый маг в красной мантии и пурпурной тиаре, с золотыми браслетами на крепких ногах в сандалиях из бежевой кожи яловой буйволицы. Алхимик и чародей Мардусерт выступал в сопровождении львиц, пантер, красавиц, детей с крылышками в цветочных венках и флейтисток верхом на удавах; набухали, вздрагивали в воздухе прозрачные ариэли и сильфиды, дымились курильницы. Двухголовый великан, звеня монистами, пел: я люблю эти снежные горы на краю мировой пустоты. Военный вавилонский оркестр с глазами, подведёнными тушью из желчи осьминога, в парчовых халатах выходил на крышу дворца, заросшую цветущими маками, бил барабан, вспархивали ночные бабочки. На бирюзовых минаретах зажигались красные костры. Оловянные звёзды всходили на лоскутном тёмном небе, а злой волшебник Кардамон строил в темноте козни, кусал седую бороду, дребезжал склянками с ядом. Кардамон замышлял недоброе, пылая преступной страстью к красавице Торине, то вспыхивал голубым эфирным пламенем, то надевал шапку-невидимку и исчезал вовсе.

– Торина, я сделаю тебя бессмертной, – говорил маг, и широким малахитовым ножом вырезал сердце из своей груди. Алая морковная кровь лилась струями, в первых рядах визжали барышни, и плюшевое мягкое сердце билось в могучей руке алхимика.

– Пойдём отсюда, Феру, – шёпотом сказала мне на ухо сеньора Мита, – тебе нельзя смотреть этот вздор.

Потом мы сидели уже ночью на площади посреди Анконы и ели фисташковое мороженое. Перед нами на белой каньёвой скатерти горели свечи в стеклянных круглых колпаках. Серебряные глаза сеньоры Миты потемнели, обрели глубину, приняли грустное и, как мне показалось, очень нежное выражение. Она смотрела на эти свечи в стекле и думала о чём-то своём.

– Бессмертие – какая наивная глупость, – сказала она, – душа и так бессмертна, важна душа. Если будет душа, и в ней откроется хоть маленькая дверца, хоть щёлочка, – она застенялась и не договорила.

– Умеешь так? – вдруг нахально спросила она, положила ложку на стол, вылизала креманку из-под мороженого длинным хрустальным языком и подмигнула мне со зверским выражением. На неё уставился какой-то господин в цветочном бархате и позументе, сидевший через столик от нас. Он не мог отвести от неё глаз.

– Клаус! – негромко позвала сеньора Мита, когда цветочный бархатный незнакомец поднялся и сделал шаг в нашу сторону. Кривоногий кучер Клаус вырос как из-под земли перед несчастным ловеласом.

– Мой очаровательный господин, – приторным угрожающим тоном сказал Клаус, показывая господину кончик шила, торчавший у него из кармана, – мой господин, позвольте, я провожу вас до дома. Это обойдётся вам всего в десять су.

После этих слов господин убежал, а кучер Клаус снова исчез.

Одно из наших путешествий в Анкону было страшнее прочих, в тот раз нам пришлось заночевать в гостинице.

Нашествие старух на город началось в три часа дня. Когда после третьего удара колокола из собора святого Мартина вышел епископ Игмередих и поднял руку для благословения, никто не обратил на него внимания; люди смотрели на серую старуху, сидевшую на ступенях церкви. Старуха прижимала к груди иссохшегося младенца, сделанного из глины и земли. Из головы мертвой куклы торчали соломинки и мелкий мусор. Старуха сняла вонючий башмак, вынула из ноги червяка и посмотрела перед собой белыми слепыми глазами. Она некоторое время бубнила что-то и хихикала, а потом сказала вполне отчетливо, шамкая беззубым ртом и шевеля волосатым подбородком: забыли родителей своих. Старуха ударила земляным младенцем по ступеньке, младенец рассыпался, куски глины выпали из рваных пелёнок.

– А мама напомнит о себе, дотянется и до ваших детей, приласкает их. Вот я милостыньку насобираала, гостинчик вам припасла. Старуха когтистой рукой развязала свой грязный кошелёк у пояса и стала разбрасывать мелкие птичьи косточки.

Милому дитяти

Некуда бежати —

Сладко ему спати

На моей кровати, —

проговорила старуха, челюсть её отвисла, и стало ясно, что она мертва.

Кареглазый, до голубой синевы выбритый, с чёрными усами, шёл поедатель кошачьего мяса и любитель рыбьей требухи, крепкий артиллерист Ардамино, в венецианском шейном платке с голыми русалками, в карминно-красном мундире с салатовыми обшлагами, с золотой палкой в руке; артиллерист Ардамино привёл старух в город. Старухи шли за красным кафтаном нестройной толпой и вскоре заполнили город. Старухи были без ума от Ардамино, остальные люди для них не существовали, они с ненавистью набрасывались на испуганных детей, дрались с молодыми женщинами и норовили укусить или толкнуть всякого встречного. Они разграбили городской рынок. Многие объевшиеся старухи умерли, и рыночная площадь, фонтан с осетрами, улицы между церковью Троицы и домом ветеранов вплоть до моста Чемунетти заполнились трупами. Старухи ломались в двери домов, швырялись песком и камнями, сдирали с себя одежду. Они подожгли склады кондитерской мануфактуры на левом берегу Ченти, разграбили монастырь Сан-Марко, напяливали на себя церковные облачения и вставляли драгоценности вместо глаз. Жирными чёрными нитями сахарная сажа падала с неба, и воздух наполнился конфетной гарью, сделалось темно от копоти, стражники с зажжёнными факелами отгоняли алебардами безумных женщин от герцогского дворца, шипело пламя сырой смолы, тлела пакля, испуганные торговцы и менялы закапывали прозрачные бриллианты в садах под клумбами отцветших нарциссов. «Покайтесь в юности вашей», – кричала косматая ведьма, размахивая дохлой вороной на длинном шесте. Городские женщины, потеряв разум, присоединялись к ним, они выбежали с хриплым хохотом и слезливыми причитаниями, эти новые старухи были наиболее опасны. Они падали в реку, молча тонули, и кое-где было видно в мутной воде Ченти, как

они продолжали идти по грязному дну, пока их не подхватывало течением и не уносило в сторону моря.

Вслед за старухами в город вошли жуки-могильщики. Они ползли пёстрыми потоками, забираясь во все щели и дырки, и пожирали всё, до чего могли добраться. Жуки обглодали старушечьи трупы, к вечеру от них остались груды тряпья и белые кости. К ночи город опустел, и до рассвета ни один житель не осмелился выйти за ворота. Повешенный артиллерист Ардамино болтался на перекладине перед балконом донны Марии делла Кираллино в красном мундире и загаженных белых панталонах. Раздувшееся его лицо с вывалившимся языком было иссиня-чёрным. На мостовой под ним сидела босоногая девочка, она играла на гармошке и пела песенку про Маруччеллу, она пела про глубокое море в глазах этой Маруччеллы и про волнение в чьей-то груди. Это была дочка карандашного мастера.

Наши поездки в город проходили по-разному. Не всегда бывало всё так страшно.

Сеньора Мита покупала у мальчишек на набережной деревянные парусные лодочки и пускала их в канал. Кажется, это занятие нравилось ей больше всего. Впрочем, иногда она делала светские визиты. Я даже был представлен герцогу и познакомился с его совсем ещё маленькой дочкой. Её звали Дикима, я влюбился в неё сразу и потерял голову навсегда. Но о Дикиме Фандуламаччи нельзя рассказать так вот запросто, между делом. Лучше отложить рассказ о ней на потом, когда у меня появится смелость вспомнить о ней по-настоящему.

Из поездок с сеньорой Митой я привозил сестре кукол, которых покупал для неё в Анконе. Франческа-Бланш изысканно-вежливо благодарила меня за подарки, но после того, как я обнаружил всех этих кукол в сарае с головами, отрубленными кухонным топориком, я стал привозить ей конфеты. Мателиусу наши поездки тоже не нравились. Всякий раз Мателиус встречал нас мрачно и тяжело. Он боялся каких-то неприятностей. Но неприятности настигли его только в конце августа, на исходе того странного памятного лета.

Мой отчим собирал книги. Сначала отчим очень живо интересовался бумагами и записями нашего настоящего отца. Я несколько раз заставал его в отцовском кабинете, всё его эмалево-медное существо выражало при этом вороватое любопытство пройдохи. Подбор библиотеки отчима был прихотлив, нелеп и невероятен, если проявить заурядное любопытство, перелистать страницы и дать себе труд поверить, что увиденное может быть правдой. Эти книги чем-то напоминали энциклопедии, словари и справочники, рукописные лоции по непонятному миру знаков, где каждый отдельный том был посвящен только одной букве. Не в том смысле, что там были собраны слова, начинающиеся на одну и ту же букву. В книгах не было слов, каждый том был исписан только одной буквой. Том «А» в красном лысоватом бархатном переплете, выцветшем по корешку до розовой белизны, содержал букву «А», написанную в два столбца каролингским полууставом. Их начертания и размер незначительно отличались один от другого. Цвет чернил был по преимуществу коричневый. Попадались буквы, написанные плохо очинённым пером, с мелкими брызгами и царапинами. С третьей страницы книга как бы захлёбывалась мраком, переходила на готическую скоропись, нотной лесенкой спускались в низ листа и расплывались синим пятном. Заглавные буквы распускались виньетками, переплетения драконов, рыцарей, ангелов и кудрявых дам в шаперонах и бурнусах ни разу не повторяли друг друга, все буквы были разные, буква похожая на улитку стояла рядом с буквой «А» в виде треугольной виселицы со скелетом, подвешенным к перекладине.

Таких книг было много. Это были рукописные книги на пергаменте, книги на серой пьоракской бумаге, отпечатанные в типографии Субьяко, свитки, исписанные кастильскими маранами, в резных серебряных футлярах, откуда их нужно было вытягивать за кольцо на окантовке листа. Книг было много, но набор их не был полным, отчим продолжал усердно

и страстно их собирать. Помню, как он был восторженно взволнован, когда ему удалось найти и купить трёхтомный иллюстрированный каталог точек.

Иногда кто-то таинственный, завернутый в епанчу, с поднятым грязным воротником и надвинутой ниже бровей шляпе приносил очередной том, пряча его под полкой. Этот человек приходил всегда под вечер и никогда не задерживался в доме, в нём всегда чувствовалось какое-то облегчение, когда он оставлял свою ношу. Про поставщика книг я знал мало, знал только, что зовут его Мустафа, и что он очень скуп. Всякий раз он уходил от Мателиуса с кошельком денег. Думаю, что он не хотел заниматься поиском и перепродажей странных книг Мателиуса, но жадность не позволяла ему уклониться от выгодной работы. Именно Мустафа понял, что для работы Мателиусу потребуются книги с лигатурами, такие книги он продавал втридорога даже по сравнению со своей обычной высокой ценой.

Мателиус читал эти книги и запоминал. Он утверждал, что в голове у него есть матрица, специальная точная схема, и когда он соберёт все книги и все буквы, то сможет прочитать текст, который во всех этих томах содержится. Нетерпение и азарт загорались в нём, когда он говорил об этом.

Ещё отчим писал письма, рассылал их с надеждой самому найти недостающие тома. Раза три за лето к нему приходили неизвестные люди, которых я не разглядел. Но последней к нему пришла крестьянская девушка из соседней деревни. Она была мне знакома. Звали её Пепа. Пепа была крупная, светловолосая и загорелая, как белая булка, вынутая из печки. Она торговала творогом, молоком и овощами. И неожиданно эта Пепа заявила к Мателиусу. Она не скрывалась, в отличие от прочих его посетителей. Пепа принесла единственную недостающую книгу. Все буквы алфавита к тому времени были уже собраны. Недоставало печатной буквы «R», выполненной антиквой. Её-то и принесла Пепа. Это была не книга в обычном смысле. Это была гладкая доска с вырезанными на ней в зеркальном отображении, как на гравюре, буквами. Бесчисленное множество всевозможных «R», рисунков и узоров покрывали её поверхность. В доске были прорезаны четыре прямоугольные отверстия, было件件но, что в них вставлялись ножки, и сама эта доска была переделана деревенскими жителями в скамейку. Девушка Пепа передала Мателиусу доску ни от кого не прячась, прямо у меня на глазах. Она взяла деньги, значительно меньше, чем обычно получал Мустафа за свои труды. Потом она почти нагло посмотрела на Мателиуса и сказала, чтобы он оставил меня дома, когда в следующий раз сеньора Мита соберётся ехать в Анкону. Она так и сказала: пусть Феру с ней не ездит, нечего ему там делать. Так она сказала и хохотнула, как будто в этом было что-то смешное и неприятное одновременно.

Мателиус не стал запрещать мне ездить в город с сеньорой Митой. Он просто запер меня в чулане, и моих криков за целый день никто не услышал. Тем более, что началась гроза, шум ветра и раскаты грома заглушали мои отчаянные крики. Сеньора Мита уехала в город одна. Она уехала в красивом светлом платье, которое я хорошо запомнил и не забуду никогда, до конца своих дней. Я видел её издали, и мои крики не долетали до неё.

Мателиус, как назло, обратился к донне Марии делла Киралино с просьбой отрядить её артиллериста Ардамино в помощь кучеру Клаусу для усиления охраны сеньоры Миты. Прочитав письмо Мателиуса донна Мария делла Киралино вышла на балкон, поднесла к лицу флакон нюхательной соли и недобро рассмеялась. Выбор Мателиуса оказался ошибочным. Сеньора Мита была обречена.

Сестра нашла меня в чулане под замком только на следующий день. Она освободила меня, когда было уже слишком поздно, и ни сеньоры Миты с её верным кучером Клаусом, ни страшного Мателиуса не было в живых.

В свой последний день Мателиус намазал доску с буквой «R» типографской краской, разложил на ней листы чуть влажной бумаги и прокатал их валиком. Получились отпечатки вполне сносного качества. Мателиус долго вчитывался в свежие влажные буквы,

бережно держа в ладонях мягкие толстые листы. Мателиус беззвучно шевелил губами. Текст таинственной книги складывался в его голове, все разрозненные знаки, толпившиеся в его рассудке, пришли во взаимодействие, слова и целые фразы стали занимать отведённые им места, приняли стройный порядок и закружились в танце смысла и могущества истины. Фаянсовое неживое лицо Мателиуса сделалось строгим и торжественным. Он вышел из флигеля в сад и начал произносить слова по большей части непонятные, но исполненные высокого достоинства. Мателиус говорил громко и внятно, возбуждаясь и, как будто, впадая в радостное неистовство. День потемнел. Над нашим садом стали стягиваться тучи. Облака росли в небе, они наплывали со всех сторон, рокоча громом и посылая друг в друга кривые молнии. Пошёл сильный дождь. Струи ливня били по крышам, листьям деревьев и дорожкам парка, потоки воды пузырились и журчали, небо клубилось низко над землёй, пахло грозой. Мателиус стоял весь мокрый, как в тот день, когда я увидел его в первый раз. Вдруг всё озарилось слепящим белым светом. В Мателиуса ударила молния. Раздался страшный резкий удар. Эхо грома бабахнуло ещё раз и стихло. Дождь перестал. Дымящиеся красные угли остались на том месте, где стоял мой отчим.

В этот же день крестьянская девушка Пепа вышла замуж за кузнеца с Ламильянских хуторов. На ней было красивое светлое платье. Платье было бы совсем хорошо, если бы не четыре маленькие дырочки, которые могли бы остаться от сильного удара вилами. Я могу предположить, что это был именно удар вилами, потому что плохо застиранное бурое пятно темнело вокруг этих дырок, на спине и на краю подола.

Крестьянка Пепа вышла замуж за своего дикого кузнеца, и когда они стояли перед алтарём, над ними, ниже купола церкви святой Варвары в Арильяно, появилось светлое голубое облако, и из него пошёл алый кровавый дождь. Капли красной крови падали на счастливых влюбленных и застывали на черных розах в руках невесты. Пепа и кузнец стали мужем и женой под этим кровавым дождём. Мокрые от крови новобрачные вышли из церкви и сказали, что ночью надо сжечь дом колдуна. Флигель, в котором жил Мателиус, сгорел, и таинственная библиотека погибла полностью. Мы с сестрой убежали в лес и вернулись нескоро. Наша заколдованная усадьба приняла нас тихо. Конец августа мы провели спокойно. Больше никто не тревожил нас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.